

НАС было трое. Мы медленно шли вдоль берега, почти у самой волны. Берег сырой, отдает запахами недавней большой воды, схлынувшим снегом отдаст. Вода еще мутная, неуспокоившаяся еще. Лодки-плоскодонки в тальниках, уже наново просмоленные, но почему-то наполовину затопленные. Большие вербы — над тальниками, ясное утро — над большими вербами, а еще выше — большое, ровной сине-вы небо.

Мы — это Михаил Алексеев, Проханов и я. Нам не хочется теропить свой шаг. Идем как в никуда, а на самом деле в память свою идем, во все, что написано Шолоховым и многожды-многожды раз нами перечитано. Замечают: каждый про себя доволен, даже, пожалуй, горд. Оно и понятно — мы как-никак в гостях у самого Шолохова! Но каждый предпочитает молчать об этом, держит пока при себе. Так оно вдвойне радостней.

Низом, под крутобережьем, обходим невидимый снизу дом Шолохова в два этажа, минуем его сад, его укромную калитку к воде...

И вдруг Алексеев замирает, как вкопанный. Оглядываюсь на него и не узнаю: ну, ей-богу же, деревенский мальчишка передо мной, а не какой-то там, как пишут критики, широко известный писатель, редактор солидного журнала «Москва». И мальчишка этот аж сияет весь от своего радостного изумления:

— Смотрите — скворец!

Перевожу взгляд в направлении его пальца и действительно убеждаюсь: он, он, черноперый! Такой весь страшно озабоченный, растопорченный весь — жуть просто! Если бы кто спросил меня в тот момент, что есть истинный семейно-супруг, я бы тут же указал ему на того скворца-бедолагу. В заботах он сам про себя позабыл — пищу для скворчихи доставал. То сюда вонзится-врезает свой ударно-поисковый инструмент, клюв то есть, то туда его запустит-ковырнет... И бежит, бежит впереди нас — торопится. Устали ему нет. Ножки раскоряченные, тоненькие, того гляди обломаться...

— Червяков ищет, — сочувственно пояснил Алексеев и поглядел на нас с Прохановым так, как будто лучшего своего друга нам представлял. — Заботник! — И опять как осветился весь: — Ага-а, нашел все-таки! Сейчас он ево вон в ту шолоховскую скворешню, какая ближе к нам, понесет!

И — надо же! — угадал: раскоряченный скворец разбежался, пырнул крыльями, и мы ахнули не успели, когда он юркнул, как канул, в такой же черный, как он сам, кружок под козырьком односкатного домика, на высоком пьесте. И домик был именно тот, на который указывал Алексеев.

А через час-полтора, перекусив малость, мы уже прогуливались не по Дону просто, а по самой Вепенской. Интересно было: где какие дома, загородки какие, какие сады... Дома были высокими, в основном добротными — каменными и деревянными. Загородки — ровными и, главное, частыми — не глухими, все видеть, а сады... сады — как зеленые кучевые облака на земле. Сам Дон-батюшка был внизу. Он лишь дальней стороной своей, тем берегом, иногда по-отечески поглядывал на нас сквозь деревья и промежутки между домами, подбадривал нас, нездешних: ни-

чего, ребята, мне вы тоже — свои.

И вдруг — стоп! — опять Алексеев! Вот уж у кого действительно — глаз — ватерпас, сердце-азимут! Сам остановился и, понятно, нас остановил:

— А вон и горлянки гнездо строят... Не видите? Да вон же, вон... Чуть к стволу поближе... — И указал на голубую елку-молодку, что рядом с магазином росла. — По центру берите и влево чуть...

Но сколько я ни вглядывался в ту елку, ничего похожего на гнездо я в ней не разглядел. Разглядел лишь тогда только, когда с прутиком в клюве сам сизарь-хозяин при-

новательно, глубоко. Сказано талантливо о гениальном.

Не могу не вспомнить и еще об одном выступлении. Но это уже было после концерта, на торжественном ужине.

А было так: предоставили слово для тоста Закруткину. Седой весь и весь какой-то поношески голубой от этой своей седины, от своих очков, он подошел к микрофону и, повернувшись в мою сторону, тихо позвал меня к себе:

— Егор, иди.

Я подошел и сразу все поняла: песня уже завладела им целиком, только голосом еще не пошла — поддержки, опоры ждет. Закруткин откашлялся, в одно касанье подпирал

то мысли в себе и, развеяв дым у лица, обратился к Закруткину:

— Виталий, говорят, вы с Егором хорошо вчера пели. Если можно, спойте еще.

Теперь уж не я, а Закруткин подошел ко мне, потрогал усы, как вчера, и, как вчера, заговорщицки блеснул на меня голубыми очками, и мы начали:

Потерял-растерял я свой

голосочек,

Потерял-растерял я свой

голосистый,

Ой, по чужим садам летучи...

Я пел эту песню и сквозь нее, бессмертную, сквозь подступившие к глазам слезы смотрел, не отрываясь, на человека, имя которого прошло со мной годы и годы, с раннего детства и до этих дней. Все, что составляло это имя, что стояло за ним, было моим достоинством, моим наследством. Это — как язык, как песня. Язык — отец, песня — мать. Как сказал один известный грузинский критик: Шолохов настолько Шолохов, что даже сам не знает об этом. Не знает, какой он всенародный, мировой. Помню, я в ответ сказал: а иначе он бы не был Шолоховым.

Шолохов!

Гляжу на него сквозь набежавшие слезы, сквозь песню, которую он любит, и вижу его лицо не только на лице, но и за лицом — во глубине времени, во глубине пережитого. Оно и сейчас — как на вечном степном ветру. Оно — от «Слова о полку...» и до его «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Они сражались за Родину»... Сколько же за ним, за этим лицом — лицом воина, Бояна и летописца — в муках извещанного и пережитого, выстраданного. Выстраданного лично своего и не своего. Пережит и выстраданно явлен был миру Григорий, выстраданы и явлены были миру Аксинья, Лушка, дед Шукар, Давыдов, Нагульнов... И каждый — во всю натуру, во весь характер... Сколько же ночей нужно было недождать для этого, сколько сомневаться надо было, сколько утверждать, любить! Это уму непостижимо! Их много у него, таких вот ярких, полнокровных, бессмертных таких, а сам-то он, создатель, один всего. И причем уже далеко не первой молодости. И не очень здоров притом.

А ПЕСНЯ пла. Шолохов, казалось, всем лицом ее слушал и на всю даль видел. Видел того платовского казака в Париже, который тосковал по своей далекой родине, по родному своему Дону-батюшке горевал:

Я по батюшке плачу я,

горюю,

Я по родному плачу я,

горюю,

Ой, по родной стороне

грущу.

А когда песня кончилась, посмотрел соколом на всех нас, собравшихся, и по старому казачьему обычаю как бы лихо приказал:

— Песельникам по чарке водки!

...Но, как говорится, пора и честь знать. Как ни грустно, а надо расставаться. Шолохов медленно встал из-за стола — ноги сильно болят — и почти как по протоколу строго и точно поблагодарил нас всех, любезно оказавших своим вниманием честь его семье и лично ему.

— Теперь-то, я надеюсь, вы понимаете, товарищи, что возраст — есть возраст.

Лицо его было настежь открытым. Это было лицо правды.

Была весна, был месяц май.

БЫЛА ВЕСНА, БЫЛ МАЙ

Егор ИСАЕВ

летел. Прилетел — передал пруттик сизарке, чья аккуратная головка — наконец-то я разглядел! — как заводная кака, туда-сюда тревожно ходила в хвойной глубине чужестранного дерева... Передал и тут же опять — фырк! — и полетел.

— Самое людное место для жилья выбрали, — строго заключил Алексеев. — Не боюсь. Народ, значит, добрый. — И опять как осветился весь, мальчишку того в себе вспомнил: — Вот воробы... Ругаем мы их, в разряд сорных ставим... А за что, спрашивается? За то, что всегда рядом с нами живут, зиму для нас теплей и веселей делают?.. Так?.. Привыкли мы к ним, потому и не ценим, что привыкли.

ВЕЧЕРОМ в станичном Дворце культуры был многолюдный торжественный сбор. Тесно было и в большом зале, и на сцене, в президиуме. На чествование 75-летия любимого писателя сошлись и съехались не только знаменитые земляки Шолохова — донские казаки, ростовчане, но и не менее знатные гости из соседних краев и областей — краснодарцы, волгоградцы, воронежцы... Среди них были и партийные работники, и строители «Атоммаша», шахтеры, колхозники, ткачи... Литераторов-москвичей представляли Георгий Марков и мы трое.

Выступавших было много. И все они выступали, как говорили — без барабана, что называется, грохота в абстрактную честь. Даже когда читали, и то как не по-написанному: столько было живости, радости в их словах. Радости за одно то хотя бы, что есть такой повод и есть такая счастливая возможность сказать эти слова на людях и ото всей души. О нем сказать — о Шолохове! — о славном современнике нашем, о писателе бесспорно мирового выбора и масштаба, о коммунисте-борце.

Особенно хорошо говорил Анатолий Калинин — замечательный прозаик-поэт, изумительный человек, давний и бескорыстный друг Шолохова. То, о чем он сказал, было сказано не только общим нашим русским словом, но и его, лично калининским, трепетным. Сказано кратко и вместе с тем ос-

вил снизу усы и, блеснув на меня очками, как знак подали ну?

И мы начали. Он первым голосом, я вторым.

Потерял-растерял я свой

голосочек,

Потерял-растерял я свой

голосистый...

И песня как бы сама пошла, остановила все ложки, ножки, вилки. Тихо стало. Все смолкло перед лицом песни. И мы не исполняли ее, нет — мы пели. Пели, как могли, пели, как страдали в этой песне — радостно и самозабвенно, пели, как возвышались в ней, пели, как благодарили ее за все за это. Благодарили еще и потому, что она — одна из самых любимых Шолоховым. Пели в его высокую честь, без всякой подготовки, просто так — от души... Зал встретил ее тихо, а проводил громко. И тоже от души.

Шолохова, к сожалению, не было на том торжественном вечере и в том добром застолье — болел. Но, как выяснилось потом, ему тоже понравилась закруткинская импровизация при моей скромной поддержке. Откуда это стало известно? А от самого Шолохова. Когда ему стало чуть полегче, он не всех нас, правда, но пригласил к себе домой. И понятно, почему не всех: на всех просто места в доме не хватило бы.

За столом все приглашенные сидели тесно-тесно, как одна большая семья. В центре, во главе стола, сидел он — сам Шолохов.

Поздравил Михаила Александровича с юбилеем и со второй Золотой Звездой Героя. Все желали писателю здоровья, настроения творческого, благодарили за приглашение. И кто-то, точно уж не помню кто, провозгласил тост за всю любовь шолоховскую. Да, да, именно так: за всю. И за его личную и за все любви и любви во всех его романах и рассказах. Все оживились, весело зашумели. Кто-то осмелел — крикнул: горько! Его поддержали:

— Горько! Горько!..

Мария Петровна восторженно, боком наклонилась к Шолохову и робко поцеловала его в ближний уголок рта.

Шолохов принял все это сдержанно, усмехнулся какой-